

Распутин Валентин

Женский разговор

Валентин Распутин
ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую "Ниву", и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет – сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули за-ради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок – все за-ради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером – не всегда... Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду – вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь – сделает, не скажешь – не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищуря, а видят ли они что – не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как неоконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество – и опять увидели небо, запотыгивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу – солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой после заката долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним, мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына. Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

– Уеду, – еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: – Уеду с ним. Больше не останусь.

– Надоело, выходит, со мной, со старухой?

– А-а, все надоело...

– Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы без интереса к жизни?

– Почему без интереса? – то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. – Интерес есть...

– Интерес есть – скорей бы съесть. Только-только в дверку скребуться, где люди живут, а уж – надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде... ну и что – хорошо выходит?

– Надоело. Спи, бабуля.

– Так ежели бы уснулось... – Наталья завздохала, завздохала. – Ну и что? – не отступила она. – Не тошно теперь?

– Тошно. Да что тошно-то? – вдруг спохватилась Вика и села в кровати. – Что?

– Ты говоришь: уедешь, – отвечала Наталья, – а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!

– Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

– Куда проходили?

– В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

– Это кто ж такая? – Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

– Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер – это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

– А живет-то она со своим мужиком, нет? – Все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

– Когда ка-ак... Это не обязательно.

– Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! – просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. – Ох-ох-ох тут у нас. Прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

– А почему говорят: целомудрие? – спросила вдруг она. – Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

– Слышу. Это не про вас.

– А ты скажи.

– Самое мудрие, – сердито начала Наталья. – С умом штанишки не скидывают. – Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка – кто еще об этом ей скажет. – К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то. – И подчеркнула "родного" и "суженого", поставила на подобающее место. – Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тут, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя выросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трешинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой, он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

– Что это ты в рифму-то?! Как заучила! – перебила Вика.

– Что в склад? Не знаю... под душу завсегда поется.

– Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

– Были, как не были. И девьи детки были.

– Как это?

– Кто в девичестве принес. Необмуженная. До срока. Были, были, Вихтория, внученька ты моя бедовая, – с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. – Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружкой поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи

светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просются, а не ты просишься за-ради Бога. А она – со страхом идёт, со скорбию. Чуть что не так – вспомнится ей, выкоротится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

– Трения?

– И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

– Ой, да кто сейчас на это смотрит, – с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

– Ну, ежели не смотрите – ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И – замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится, и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъездила к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне – отцеженным, слюдянистым светом.

– Зачем ты? Закрой! – встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал – где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и замороженно – ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

– Господи помилуй...

– Что там, бабушка? – не поняла Вика.

– Везде там, внученька, Господи помилуй...

– Ты что – больше ничего не видела?

– Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

– А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

– С дедушкой? Что было?

– Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось – поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

– Мы невенчаные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церкви посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешила старое платье под новое – вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в шестнадцать годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... – Наталья сбилась и умолкла.

– Ну и что с дедушкой-то? – настаивала Вика.

– А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасанья. Я его до каждой чутельки знала.

– У вас и способов не было...

– Чего это? – слабо удивилась Наталья. – Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без докторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимость учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала.

– Это правильно, – подтвердила Вика. А уж что подтверждала – надо было

догадываться. – Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

– Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

– Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целе-устремленная.

– Куда стреленная?

– Не стреленная. Целе-устремленная. Понимаешь?

– Рот разинешь, – кивала Наталья, – так и стрелют, в самую цель. Об чем я с тобой всюю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

– Ты совсем, что ли, безграмотная? – охала она. – Почему не понимаешь-то? Целе-устремленная – это значит, идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

– Ну и что, – сказала потом она. – И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету невзвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

– Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

– По тиливизиру видала, – смиренно отвечала Наталья. – К Наде, к соседке, когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то-все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

– И гончую там видала?

– И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устремленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

– Все не о том ты, – задумчиво отвечала Вика. – Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спинку, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

"Не о том, – согласилась с внучкой Наталья. – Хочешь не хочешь, а надо сознаваться: все тепери не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится – страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено..."

– Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, – с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

– Про дедушку-то? – вспомнила Наталья. – Ну так а что про дедушку. Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

– Как не тот? – поразилась Вика.

– Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядья твои Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего-то, он же, Николай, мне сюда послал.

– Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? – Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. – Ты расскажи.

Что делать: заговорила – надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее

внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад, и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городской. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

– Как он мог прислать, если он погиб? – И голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. – И как это вообще можно прислать?

– Вот так, – подтвердила Наталья и покивала себе. – Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

– Ну.

– Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: "Наталья, я в городе была, окрестилася. Потеперь спасаюсь". – "Тебе спастись до-ол-гонько надо, говорю ей. – Не андел".

– Бабушка! – вскричала Вика. – Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

– Ворочаюсь, ворочаюсь, – согласилась Наталья, вздыхая. – Я тоже стала – куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если поранешнему говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

– И чем ты хвалилась?

– А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! – протянула она, проводя границу. – Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась... Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики...

– А папы, значит, тогда еще не было? – пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

– Папы твое не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидел – поднялся. Я, говорит, вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку – худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хуже раны, он никак не мог ее в до-кончателности снять.

– Ну и что? – не выдержала Вика. – Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

– Не егози, – одернула ее Наталья. – Это у вас – раз, и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по

воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей... это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятишек... они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец за-ради такого гостя из запаса бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики выделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

– На другой день он пришел с утра, – без подталкивания продолжила Наталья. – Я, говорит, вчера не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю. Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай придти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддегивает... не так чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лучше и добрей, чем ты. А тебе от него завещание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

– Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? – спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

– "И ты за-ради этого поехал?" – спрашиваю его. "Поехал". – "Отец, мать есть у тебя?" – "Мать померла, отец есть". – "Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?" – Молчит. – "Что за приказания такая лютая?" – "Что в ней, говорит, – лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить". "Не-ет, ты голову, – говорю, – на место поставь и подумай: на что тебе брат чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок невпересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, старше тебя". – Стала спрашивать про годы так и есть, на три годочка я старше. – "Ты, видно, – говорю, – хороший человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай". Он постоял, постоял и ушел.

– Ушел?! – поразились Вика. – Как ушел? Откуда же он потом взялся?

– Ушел, уехал, – подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. – А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежду привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

– Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

– Да какая любовь?!

– У вас что – и любви в то время по второму разу не было?

– Слушай, – с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. – Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: неровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брат не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

– Ну, живет, – повздыхав, повела она дальше. – Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстанутся, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла – кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

– А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь...

– Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

– С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

– Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, – повторила Наталья не без похвальбы. – Но я говорю: он был контуженый, больной. А контузия такая: ляжет – и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

– И ты его за это полюбила?

– Что ты все: полюбила, полюбила... – без раздражения, спокойно ответила Наталья. – Это уж вы любите, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так каждому. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизнь.

– Он что – лучше был первого дедушки? – спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в постель: история кончилась.

– Отшлепать бы тебя за такие разговоры, – слабо возмутилась Наталья. Так я тебе скажу, внученька. Я древля старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилась вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну, так, а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

– Забавная ты, бабушка, – неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

– Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночь поговорить со внукой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизнь – спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, беспокойно засыпала девчонка – подергива-лись, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.